



## А. С. ПУШКИН

### <Из заметок, статей и писем 1823–1834 гг.>

<1>

Только революционная голова, подобная Мирабо и Петру, может любить Россию так, как писатель только может любить ее язык.

Всё должно творить в этой России и в этом русском языке.

<1823>

<2>

#### О причинах, замедливших ход нашей словесности

Причинами, замедлившими ход нашей словесности, обыкновенно почитаются: 1) общее употребление французского языка и пренебрежение русского. Все наши писатели на то жаловались, — но кто же виноват, как не они сами. Исключая тех, которые занимаются стихами, русский язык ни для кого не может быть довольно привлекателен. У нас еще нет ни словесности, ни книг\*, — все наши знания, все наши понятия с младенчества почерпнули мы в книгах иностранных, мы привыкли мыслить на чужом языке; просвещение века требует важных предметов размышления для пищи умов, которые уже не могут довольствоваться блестящими играми воображения и гармонии, но ученость, политика и философия еще по-русски не изъяснялись — метафизического языка у нас вовсе не существует; проза наша так еще мало обработана, что даже в простой переписке мы принуждены *создавать* обороты слов для

---

\* В стране моей родной

Журналов <тысячи, а книги ни одной><sup>1</sup>.

Согласен с последним полустижием. — *Примеч. А.С. Пушкина.*

изъяснения понятий самых обыкновенных; и леность наша охотнее выражается на языке чужом, коего механические формы уже давно готовы и всем известны. <...>

<1824>

<3>

### О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова

Любители нашей словесности были обрадованы предприятием графа Орлова<sup>1</sup>, хотя и догадывались, что способ перевода, столь блестящий и столь недостаточный, нанесет несколько вреда басням неподражаемого нашего поэта. Многие с большим нетерпением ожидали предисловия г-на Лемонте<sup>2</sup>; оно в самом деле очень замечательно, хотя и не совсем удовлетворительно. Вообще там, где автор должен был необходимо писать понаслышке, суждения его могут иногда показаться ошибочными; напротив того, собственные догадки и заключения удивительно правильны. Жаль, что сей знаменитый писатель едва коснулся до таких предметов, о коих мнения его должны быть весьма любопытны. Читаешь его статью с невольной досадою, как иногда слушаешь разговор очень умного человека, который, будучи связан какими-то приличиями, слишком многого не договаривает и слишком часто отмалчивается.

Бросив беглый взгляд на историю нашей словесности, автор говорит несколько слов о нашем языке, признает его первобытным, не сомневается в том, что он способен к усовершенствованию, и, ссылаясь на уверения русских, предполагает, что он богат, сладкозвучен и обилён разнообразными оборотами.

Мнения сии нетрудно было оправдать. Как материал словесности, язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство пред всеми европейскими: судьба его была чрезвычайно счастлива. В XI веке древний греческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи; словом, усыновил его, избавя таким образом от медленных усовершенствований времени. Сам по себе уже звучный и выразительный, отселе заимлет он гибкость и правильность. Простонародное наречие необходимо должно было отделяться от книжного; но впоследствии они сблизились, *и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей.*

Г-н Лемонте напрасно думает, что владычество татар оставило ржавчину на русском языке. Чуждый язык распространяется не саблею и пожарами, но собственным обилием и превосходством.

Какие же новые понятия, требовавшие новых слов, могло принести нам кочующее племя варваров, не имевших ни словесности, ни торговли, ни законодательства? Их нашествие не оставило никаких следов в языке образованных китайцев, и предки наши, в течение двух веков стоная под татарским игом, на языке родном молились русскому богу, проклинали грозных властителей и передавали друг другу свои сетования. Таковой же пример видели мы в новейшей Греции. Какое действие имеет на поработанный народ сохранение его языка? Рассмотрение сего вопроса завлекло бы нас слишком далеко. Как бы то ни было, едва ли полсотни татарских слов перешло в русский язык. Войны литовские не имели также влияния на судьбу нашего языка; он один оставался неприкосновенною собственностью несчастного нашего отечества.

В царствование Петра I-го начал он приметно искажаться от необходимого введения голландских, немецких и французских слов. Сия мода распространяла свое влияние и на писателей, в то время покровительствуемых государями и вельможами; к счастью, явился Ломоносов.

Г-н Лемонте в одном замечании говорит о всеобъемлющем гении Ломоносова; но он взглянул не с настоящей точки на великого подвижника великого Петра.

Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенною силою понятия, Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшею страстию сей души, исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он всё испытал и всё проник: первый углубляется в историю отечества, утверждает правила общественного языка его, дает законы и образцы классического красноречия, с несчастным Рихманом<sup>3</sup> предугадывает открытия Франклина<sup>4</sup>, учреждает фабрику, сам сооружает машины, дарит художества мозаическими произведениями и наконец открывает нам истинные источники нашего поэтического языка.

Поэзия бывает исключительною страстию немногих, родившихся поэтами; она объемлет и поглощает все наблюдения, все усилия, все впечатления их жизни: но если мы станем исследовать жизнь Ломоносова, то найдем, что науки точные были всегда главным и любимым его занятием, стихотворство же иногда забавою, но чаще должностным упражнением. Мы напрасно искали бы в первом нашем лирике пламенных порывов чувства и воображения. Слог его, ровный, цветущий и живописный, заимлет главное достоинство от глубокого знания книжного славянского языка и от счастливого слияния оного с языком простонародным. Вот почему предложения псалмов и другие сильные и близкие подражания высокой поэзии священных книг суть его лучшие произведения. <...>

Упомянув об исключительном употреблении французского языка в образованном кругу наших обществ, г. Лемонте столь же остроумно, как и справедливо, замечает, что русский язык чрез то должен был непременно сохранить драгоценную свежесть, простоту и, так сказать, чистосердечность выражений. Не хочу оправдывать нашего равнодушия к успехам отечественной литературы, но нет сомнения, что если наши писатели чрез то теряют много удовольствия, по крайней мере язык и словесность много выигрывают. Кто отклонил французскую поэзию от образцов классической древности? Кто напудрил и нарумянил Мельпомену Расина и даже строгую музу старого Корнеля? Придворные Людовика XIV. Что навело холодный лоск вежливости и остроумия на все произведения писателей 18 столетия? Общество M<sup>e</sup> du Deffand, Boufflers, d'Épinau\*<sup>5</sup>, очень милых и образованных женщин. Но Мильтон и Данте писали не для благосклонной улыбки прекрасного пола.

Строгий и справедливый приговор французскому языку делает честь беспристрастию автора. Истинное просвещение беспристрастно. Приводя в пример судьбу сего прозаического языка, г. Лемонте утверждает, что и наш язык, не столько от своих поэтов, сколько от прозаиков, должен ожидать *европейской своей общежительности*. Русский переводчик оскорбился сим выражением; но если в подлиннике сказано *civilisation Européenne\*\**, то сочинитель чуть ли не прав.

Положим, что русская поэзия достигла уже высокой степени образованности: просвещение века требует пищи для размышления, умы не могут довольствоваться одними играми гармонии и воображения, но ученость, политика и философия еще по-русски не изъяснялись; метафизического языка у нас вовсе не существует. Проза наша так еще мало обработана, что даже в простой переписке мы принуждены *создавать* обороты для изъяснения понятий самых обыкновенных, так что леность наша охотнее выражается на языке чужом, коего механические формы давно готовы и всем известны.

Г-н Лемонте, входя в некоторые подробности касательно жизни и привычек нашего Крылова, сказал, что он не говорит ни на каком иностранном языке и только понимает по-французски. *Неправда!* — резко возражает переводчик в своем примечании. В самом деле, Крылов знает главные европейские языки, и, сверх того, он, как Альфиери<sup>6</sup>, пятидесяти лет выучился древнему греческому. В других землях таковая характеристическая черта известного человека была бы прославлена во всех журналах; но мы в биографии славных писателей наших до-

\* Госпожи дю Дефан, Буфлер, д'Эпине (фр.). — *Ред.*

\*\* Европейская цивилизация (фр.). — *Ред.*

вольствуемся означением года их рождения и подробностями послужного списка, да сами же потом и жалуемся на неведение иностранцев о всем, что до нас касается.

В заключение скажу, что мы должны благодарить графа Орлова, избравшего истинно народного поэта, дабы познакомить Европу с литературою Севера. Конечно, ни один француз не осмелится кого бы то ни было поставить выше Лафонтена<sup>7</sup>, но мы, кажется, можем предпочитать ему Крылова. Оба они вечно останутся любимцами своих единоземцев. Некто справедливо заметил, что простодушие (*naïveté*, *bonhomie*\*) есть врожденное свойство французского народа; напротив того, отличительная черта в наших нравах есть какое-то веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться: Лафонтен и Крылов представители духа обоих народов.

<1825>

<4>

<Из переписки Пушкина с А. А. Бестужевым и К. Ф. Рылевым>

*К. Ф. Рылеев — Пушкину*

*5–7 января 1825. Петербург*

Рылеев обнимает Пушкина и поздравляет с «Цыганами»<sup>1</sup>. Они совершенно оправдали наше мнение о твоём таланте. Ты идешь шагами великана и радуешь истинно русские сердца. Я пишу к тебе: *ты*, потому что холодное *вы* не ложится под перо; надеюсь, что имею на это право и по душе, и по мыслям. Пуцин познакомит нас короче. Прощай, будь здоров и не ленись: ты около Пскова: там задушены последние вспышки русской свободы; настоящий край вдохновения — и неужели Пушкин оставит эту землю без поэмы.

*Пушкин — К. Ф. Рылеву*

*25 января 1825. Михайловское*

Благодарю тебя за *ты* и за письмо. Пуцин привезет тебе отрывок из моих «Цыганов»<sup>2</sup>. Желаю, чтоб они тебе понравились. Жду «Полярной Звезды» с нетерпением, знаешь для чего? для «Войнаровского»<sup>3</sup>. Эта поэма нужна была для нашей словесности. Бестужев

---

\* Наивность, добродушие (*фр.*). — *Ред.*

пишет мне много об «Онегине»<sup>4</sup> — скажи ему, что он не прав: ужели хочет он изгнать всё легкое и веселое из области поэзии? куда же денутся сатиры и комедии? следственно должно будет уничтожить и «Orlando furioso», и «Гудибраса», и «Pucelle», и «Вер-Вера», и «Ренике-фукс», и лучшую часть «Душеньки»<sup>5</sup>, и сказки Лафонтена, и басни Крылова etc. etc. etc. etc. etc... Это немного строго. Картины светской жизни также входят в область поэзии, но довольно об «Онегине». <...>

*К. Ф. Рылеев — Пушкину*

*12 февраля 1825. Петербург*

Благодарю тебя, милый Поэт, за отрывок из «Цыган» и за письмо; первый прелестен, второе мило. Разделяю твое мнение, что картины светской жизни входят в область поэзии. Да если б и не входили, ты с своим чертовским дарованием втолкнул бы их насильно туда. Когда Бестужев писал к тебе последнее письмо, я еще не читал вполне первой песни «Онегина». Теперь я слышал всю: она прекрасна; ты схватил всё, что только подобный предмет представляет. Но «Онегин», сужу по первой песни, ниже и «Бахчисарайского фонтана», и «Кавказского пленника». <...>

*А. А. Бестужев — Пушкину*

*9 марта 1825. Петербург*

Долго не отвечал я тебе, любезный Пушкин<sup>6</sup>, не вини: был занят механикою издания «Полярной». Она кончается (т. е. оживает), и я дышу свободнее и приступаю вновь к литературным спорам. Поговорим об «Онегине».

Ты очень искусно отбиваешь возражения на счет предмета — но я не убежден в том, будто велика заслуга оплодотворить тощее поле предмета, хотя и соглашаюсь, что тут надобно много искусства и труда. Чудно привить яблоки к сосне — но это бывает, это дивит, а всё-таки яблоки пахнут смолою. Трудно попасть горошинкой в ушко иглы, но ты знаешь награду, которую назначил за это Филипп!<sup>7</sup> Между тем как убить в высоте орла, надобно и много искусства, и хорошее ружье. Ружье — талант, птица — предмет — для чего ж тебе из пушки стрелять в бабочку? — Ты говоришь, что многие гении занимались этим — я и не спорю, но если они ставили это искусство выше изящной, высокой поэзии — то верно шутя; слово Буало, будто хороший куплетец лучше иной поэмы<sup>8</sup>, нигде уже ныне не находит верующих, ибо Рубан<sup>9</sup>, бесталаный Рубан написал несколько хороших стихов,



но читаемую поэму напишет не всякой. Проговориться не значит говорить, блеснуть можно и не горя. Чем выше предмет, тем более надобно силы, чтобы объять его — его постичь, его одушевить. Иначе ты покажешься мошкой на пирамиде — муравьем, который силится поднять яйцо орла. — Одним словом, как бы ни был велик и богат предмет стихотворения — он станет таким только в руках гения. Сладок сок кокоса, но для того, чтоб извлечь его, потребна не ребяческая сила. В доказательство тому приведу и пример: что может быть поэтичнее *Петра*? И кто написал его сносно?<sup>10</sup> Нет, Пушкин, нет, никогда не соглашусь, что поэма заключается в предмете, а не в исполнении! — Что свет можно описывать в поэтических формах — это несомненно, но дал ли ты «Онегину» поэтические формы, кроме стихов? поставил ли ты его в контраст со светом, чтобы в резком злословии показать его резкие черты? — Я вижу франта, который душой и телом предан моде — вижу человека, которых тысячи встречаю наяву, ибо самая холодность и мизантропия и странность теперь в числе туалетных приборов. Конечно, многие картины прелестны, — но они не полны, ты схватил петербургской свет, но не проник в него. Прочти Бейрона; он, не зная нашего Петербурга, описал его схоже — там, где касалось до глубокого познания людей<sup>11</sup>. У него даже притворное пустословие скрывает в себе замечания философские, а про сатиру и говорить нечего. Я не знаю человека, который бы лучше его, портретнее его очеркивал характеры, схватывал в них новые проблески страстей и страстишек. И как зла, и как свежа его сатира! Не думай, однако ж, что мне не нравится твой «Онегин», напротив. Вся ее мечтательная часть прелестна, но в этой части я не вижу уже Онегина, а только тебя. Не отсоветываю даже писать в этом роде, ибо он должен нравиться массе публики, — но желал бы только, чтоб ты разуверился в превосходстве его над другими. Впрочем, мое мнение не аксиома, но я невольно отдаю преимущество тому, что колеблет душу, что ее возвышает, что трогает русское сердце; а мало ли таких предметов — и они ждут тебя! Стоит ли вырезывать изображения из яблочного семечка, подобно браминам индейским, когда у тебя в руке резец Праксителя? Страсти и время не возвращаются — а мы не вечны!!! <...>

*К. Ф. Рылеев — Пушкину*

*10 марта 1825. Петербург*

Не знаю, что будет «Онегин» далее: быть может, в следующих песнях он будет одного достоинства с «Дон Жуаном»: чем дальше в лес, тем больше дров; но теперь он ниже «Бахчисарайского

фонтана» и «Кавказского пленника». Я готов спорить об этом до второго пришествия.

Мнение Байрона, тобою приведенное, несправедливо. Поэт, описавший колоду карт лучше, нежели другой деревья, не всегда выше своего соперника<sup>12</sup>. У каждого свой дар, своя Муза. Майкова «Елисей» прекрасен<sup>13</sup>; но был ли бы он таким у Державина, не думаю, несмотря на превосходства таланта его пред талантом Майкова. Державина «Мириамна» никуда не годится<sup>14</sup>. Следует ли из того, что он ниже Озерова?

Не согласен и на то, что «Онегин» выше «Бахчисарайского фонтана» и «Кавказского пленника», как творение искусства. Сделай милость, не оправдывай софизмов Воейковых<sup>15</sup>: им только дозволительно ставить искусство выше вдохновения. Ты на себя клеплешь и взводишь Бог знает что. <...>

### *Пушкин — А.А. Бестужеву*

*24 марта 1825. Михайловское*

<...> Твое письмо очень умно, но всё-таки ты не прав, всё-таки ты смотришь на «Онегина» не с той точки, всё-таки он лучшее произведение мое. Ты сравниваешь первую главу с «Дон Жуаном». — Никто более меня не уважает «Дон Жуана» (первые 5 песней, других не читал), но в нем ничего нет общего с «Онегиным». Ты говоришь о сатире англичанина Байрона и сравниваешь ее с моею, и требуешь от меня таковой же! Нет, моя душа, многого хочешь. Где у меня *сатира*? о ней и помину нет в «Евгении Онегине». У меня бы затрещала набережная, если б коснулся я сатиры. Самое слово *сатирический* не должно бы находиться в предисловии. Дождись других песен... Ах! Если б заманить тебя в Михайловское!... ты увидишь, что если уж и сравнивать «Онегина» с «Дон Жуаном», то разве в одном отношении: кто милее и прелестнее (*gracieuse*), Татьяна или Юлия?<sup>16</sup> 1-я песнь просто быстрое введение, и я им доволен (что очень редко со мною случается). Сим заключаю полемику нашу...<...>

### *К.Ф. Рылеев — Пушкину*

*Конец апреля 1825. Петербург*

<...> «Цыган» слышал я четвертый раз и всегда с новым, с живейшим наслаждением. Я подыскивался, чтоб привязаться к чему-нибудь, и нашел, что характер Алеко несколько унижен. Зачем водит



он медведя и собирает вольную дань? Не лучше ли б было сделать его кузнецом<sup>17</sup>. Ты видишь, что я придираюсь, а знаешь, почему и зачем? Потому, что сужу поэму Александра Пушкина, за тем, что желаю от него совершенства. <...>

<5>

**О народности в литературе**

С некоторых пор вошло у нас в обыкновение говорить о народности, требовать народности, жаловаться на отсутствие народности в произведениях литературы, но никто не думал определить, что разумеет он под словом народность.

Один из наших критиков, кажется, полагает, что народность состоит в выборе предметов из отечественной истории.

Но мудрено отъять у Шекспира в его «Отелло», «Гамлете», «Мера за меру» и проч. — достоинства большой народности; Vega<sup>1</sup> и Кальдерон поминутно переносят во все части света, заедают предметы своих трагедий из итальянских новелл, из французских ле. Ариосто воспеваает Карломана<sup>2</sup>, французских рыцарей и китайскую царевну. Трагедии Расина взяты им из древней истории.

Мудрено, однако же, у всех сих писателей оспаривать достоинства великой народности. Напротив того, *что есть народного в Петриаде и Россиаде, кроме имен*, как справедливо заметил кн. Вяземский<sup>3</sup>. Что есть народного в Ксении, рассуждающей шестистопными ямбами о власти родительской с наперсницей посреди стана Димитрия?<sup>4</sup>

Другие видят народность в словах, т. е. радуются тем, что, изъясняясь по-русски, употребляют русские выражения.

Народность в писателе есть достоинство, которое вполне может быть оценено одними соотечественниками — для других оно или не существует, или даже может показаться пороком. Ученый немец негодует на учтивость героев Расина, француз смеется, видя в Кальдероне Кориолана, вызывающего на дуэль своего противника<sup>5</sup>. Всё это носит, однако ж, печать народности.

Климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию, которая более или менее отражается в зеркале поэзии. Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу.

## &lt;6&gt;

Заметки на полях статьи П. А. Вяземского  
«О жизни и сочинениях В. А. Озерова»

<Статья Вяземского>	<Заметки Пушкина>
<p>&lt;...&gt; Озеров в окончании своей трагедии совершенно отстал от Софокла<sup>1</sup>, и, так сказать, срывает с Эдипа священную печать таинственного попечения о нем богов, чудных к нему в гонении и милости. Наш трагик изменил прекрасному концу греческого Эдипа, освященного перед смертью и уже не хилого слепца, имеющего нужду в подпоре смертных; но слепца, руководимого промыслом богов и твердою стопою идущего к могиле, назначенной ему от них наградою за долгие страдания и пристанищем после житейских треволнений. Сей прекрасной кончине предпочел он холодную смерть Креона в угождение ложному правилу, проповеданному нам новейшими трагиками, что нравственная цель трагедии должна быть казнь порока и торжество добродетели. Но трагик не есть уголовный судья*. Обязанность его и всякого писателя есть согреть любовью к добродетели** и воспалить ненавистию к пороку, а не заботиться о жребии и приговоре провидения. Великие трагики и из новейших чувствовали сию истину, и Вольтер, поражая Зопира и щадя Магомета<sup>2</sup>, не был ни гонителем добродетели, ни льстецом порока. Озеров, как сказывают, сперва и хотел перенести в свою трагедию прекрасный конец Софокловой; но один актер, в школе Сумарокова воспитанный, испугал его, предсказывая, что публика дурно примет конец, столь противный общим понятиям о цели драматических творений, и родил в нем мысль развязать свою трагедию смертью Креона. &lt;...&gt;</p>	<p>* Прекрасно. Ничуть. Поэзия выше нравственности — или по крайней мере совсем иное дело. ** Господи Суси! какое дело поэту до добродетели и порока? разве их одна поэтическая сторона.</p>

<7>

<Из статьи «Опровержение на критики»>

Мы так привыкли читать ребяческие критики, что они даже нас и не смешат. Но что сказали бы мы, прочитав, например, следующий разбор Расиновой «Федры» (если б, к несчастью, написал ее русский и в наше время).

«Нет ничего отвратительнее предмета, избранного г. сочинителем. Женщина замужняя, мать семейства, влюблена в молодого олуха, побочного сына ее мужа (!!!!). Какое неприличие! Она не стыдится в глаза ему признаваться в развратной страсти своей (!!!!). Сего недовольно: сия фурия, употребляя во зло глупую легковёрность супруга своего, возносит на невинного Ипполита гнусную небывальщину, которую из уважения к нашим читательницам не смеем даже объяснить!!! Злой старичишка, не входя в обстоятельства, не разобрав дела, проклиняет своего собственного сына (!!) — после чего Ипполита разбивают лошади (!!!); Федра отравливается, ее гнусная наперсница утопляется, и точка. И вот что пишут, не краснея, писатели, которые и проч. (тут личности и ругательства); вот до какого разврата дошла у нас литература, кровожадная, развратная ведьма с прыщиками на лице!» — Шлюсь на совесть самих критиков. Не так ли, хотя и более кудрявым слогом, разбирают они каждый день сочинения, конечно не равные достоинством произведениям Расина, но, верно, ничуть не предосудительнее оных в нравственном отношении. Спрашиваем: должно ли и можно ли серьезно отвечать на таковые критики, хотя б они были писаны и полатыни, а приятели называли это глубокомыслием? <...>

---

«Граф Нулин» наделал мне больших хлопот<sup>1</sup>. Нашли его (с позволения сказать) похабным, — разумеется в журналах, — в свете приняли его благосклонно, и никто из журналистов не захотел за него заступиться. Молодой человек ночью осмелился войти в спальню молодой женщины и получил от нее пощечину! Какой ужас! Как сметь писать такие отвратительные гадости? Автор спрашивал, что бы на месте Натальи Павловны сделали петербургские дамы: какая дерзость! Кстати о моей бедной сказке (писанной, буди сказано мимоходом, самым трезвым и благопристойным образом) — подняли противу меня всю классическую древность и всю европейскую литературу! Верю стыдливости моих критиков; верю, что «Граф Нулин» точно кажется им предосудительным. Но как же упоминать о древних, когда дело идет

о благопристойности? И ужели творцы шуточных повестей Ариост, Бокаччио, Лафонтен, Касти, Спенсер, Чаусер, Виланд, Байрон известны им по одним лишь именам?<sup>2</sup> ужели, по крайней мере, не читали они Богдановича и Дмитриева?<sup>3</sup> Какой несчастный педант осмелится укорить «Душеньку» в безнравственности и неблагопристойности? Какой угрюмый дурак станет важно осуждать «Модную жену», сей прелестный образец легкого и шуточного рассказа? А эротические стихотворения Державина, невинного, великого Державина? Но отстраним уже неравенство поэтического достоинства. «Граф Нулин» должен им уступить и в вольности, и в живости шуток.

Эти г. критики нашли странный способ судить о степени нравственности какого-нибудь стихотворения. У одного из них есть 15-летняя племянница, у другого 15-летняя знакомая — и всё, что по благоусмотрению родителей еще не дозволяется им читать, провозглашено неприличным, безнравственным, похабным etc.! как будто литература и существует только для 16-летних девушек! Вероятно, благоразумный наставник не дает в руки ни им, ни даже их братцам полных собраний сочинений ни единого классического поэта, особенно древнего. На то издаются хрестоматии, выбранные места и тому под. Но публика не 15-летняя девица и не 13-летний мальчик. Она, слава богу, может себе прочесть без опасения и сказки доброго Лафонтена, и эклогу доброго Виргилия, и всё, что про себя читают сами г. критики, если критики наши что-нибудь читают кроме корректурных листов своих журналов.

Все эти господа, столь щекотливые насчет благопристойности, напоминают Тартюфа<sup>4</sup>, стыдливо накидывающего платок на открытую грудь Дорины, и заслуживают забавное возражение горничной:

Vous êtes donc bien tendre à la tentation  
Et la chair sur vos sens fait grande impression!  
Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte:  
Mais à convoiter, moi, je ne suis point si prompte,  
Et je vous verrais nu, du haut jusques en bas  
Que toute votre peau ne me tenterait pas\*.

<...>

---

\* Однако вы очень податливы на искушение,  
И тело производит сильное впечатление на ваши чувства!  
Не понимаю, право, что за пылкость вас одолела.  
Я совсем не так быстра на плотские желания,  
И когда б я увидела вас голым с головы до пят, —  
Вся ваша кожа меня бы не соблазнила (фр.). — *Ред.*

Безнравственное сочинение есть то, коего целию или действием бывает потрясение правил, на коих основано счастье общественное или человеческое достоинство. Стихотворения, коих цель горячить воображение любострастными описаниями, унижают поэзию, превращая ее божественный нектар в воспалительный состав, а музу в отвратительную Канидию<sup>5</sup>. Но шутка, вдохновенная сердечной веселостию и минутной игрою воображения, может показаться безнравственною только тем, которые о нравственности имеют детское или темное понятие, смешивая ее с правоучением, и видят в литературе одно педагогическое занятие.

<1830>

<8>

### О ничтожестве литературы русской

Если русская словесность представляет мало произведений, достойных наблюдения критики литературной, то она сама по себе (как и всякое другое явление в истории человечества) должна обратить на себя внимание добросовестных исследователей истины.

Долго Россия оставалась чуждою Европе. Приняв свет христианства от Византии, она не участвовала ни в политических переворотах, ни в умственной деятельности римско-кафолического мира. Великая эпоха Возрождения не имела на нее никакого влияния; рыцарство не одушевило предков наших чистыми восторгами, и благодетельное потрясение, произведенное крестовыми походами, не отозвалось в краях оцепеневшего севера... России определено было высокое предназначение... Ее необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы; варвары не осмелились оставить у себя в тылу поработленную Русь и возвратились на степи своего востока. Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией...\*

Духовенство, пощаженное удивительной сметливостию татар, одно — в течение двух мрачных столетий — питало бледные искры византийской образованности. В безмолвии монастырей иноки вели свою непрерывную летопись. Архиереи в посланиях своих беседовали с князьями и боярами, утешая сердца в тяжкие времена искушений и безнадежности. Но внутренняя жизнь поработенного народа не развивалась. Татары не походили на мавров. Они, завоевав Россию,

---

\* А не Польшею, как еще недавно утверждали европейские журналы; но Европа в отношении к России всегда была столь же невежественна, как и неблагодарна. — *Примеч. А.С. Пушкина.*



не подарили ей ни алгебры, ни Аристотеля. Свержение ига, споры великокняжества с уделами, единовластия с вольностями городов, самодержавия с боярством и завоевания с народной самобытностью не благоприятствовали свободному развитию просвещения. Европа наводнена была невероятным множеством поэм, легенд, сатир, романсов, мистерий и проч., но старинные наши архивы и вивлиофики, кроме летописей, не представляют почти никакой пищи любопытству изыскателей. Несколько сказок и песен, беспрестанно поновляемых изустным преданием, сохранили полуизглаженные черты народности, и «Слово о полку Игореве» возвышается уединенным памятником в пустыне нашей древней словесности.

Но и в эпоху бурь и переломов цари и бояре согласны были в одном: в необходимости сблизить Россию с Европою. Отселе сношения Ивана Васильевича с Англией, переписка Годунова с Данией, условия, поднесенные польскому королевичу аристократией XVII столетия, посольства Алексея Михайловича... Наконец, явился Петр.

Россия вошла в Европу, как спущенный корабль, при стуке топора и при громе пушек. Но войны, предпринятые Петром Великим, были благодетельны и плодотворны. Успех народного преобразования был следствием Полтавской битвы, и европейское просвещение причалило к берегам завоеванной Невы.

Петр не успел довершить многое, начатое им. Он умер в поре мужества, во всей силе творческой своей деятельности. Он бросил на словесность взор рассеянный, но пронизательный. Он возвысил Феофана<sup>1</sup>, ободрил Копиевича<sup>2</sup>, не влюбил Татищева<sup>3</sup> за легкомыслие и вольнодумство, угадал в бедном школьнике *вечного труженика* Тредьяковского<sup>4</sup>. Семена были посеяны. Сын молдавского господаря<sup>5</sup> воспитывался в его походах; а сын холмогорского рыбака<sup>6</sup>, убежав от берегов Белого моря, стучался у ворот Заиконоспасского училища: новая словесность, плод новообразованного общества, скоро должна была родиться. <...>

<1834>

